

В темных религиозных лучах. По тихим обителям. Василий Васильевич Розанов

В Саров надо ехать не через Арзамас, через который едут почти все, а через станцию Шатки, следующую за Арзамасом в направлении от Нижнего. Большой тракт, проложенный от Арзамаса и идущий мимо Сарова, страшно разбит несоразмерно большой ездой по нему, колеи чрезвычайно глубоки, и тройка лошадей почти все время тащит коляску шагом. К тому же ямщики этого большого тракта избалованы и развращены хорошим и верным заработком, — и тем, что без них едущим никак не обойтись. В Арзамас нижегородский поезд приходит около 4 часов пополудни. На вокзале спать негде: на лавках, на полу стоят, сидят и лежат (даже на полу лежат) всевозможные больные, калеки, слепые, параличные, которых ведут или которые едут «к Угоднику». Собственное имя Серафима Саровского здесь уже не называют, заменив его нарицательным и обобщенным «Угодник», в котором как будто больше силы и припадания. Вся площадка около вокзала заставлена тройками, парами и одноконными кибиточками, которые жадно подхватывают пассажиров. Плата за тройку взад и вперед, с заездом из Сарова в Серафимо-Дивеев монастырь, стоит 25—30 руб., одноконная полутелега-полукибитка стоит 5 руб. До Сарова 60 верст. И как за поздним приходом поезда невозможно в тот же день доехать до Сарова, то приходится ночевать в дороге. Ничего не знающие пассажиры тут-то и узнают неправильность избранного маршрута. Кроме деревень, до Сарова ничего не встречается. Ямщик привозит пассажиров в ту крестьянскую избу, которая уже стукнулась с ним и где он получает «за гостей» 2—3 стакана вина и сколько-нибудь денег, а пассажиры, которым нет выбора, получают клопов, духоту, грязь и вонь, и платят по четвертаку за самовар воды и почти столько же за кринку молока или ломоть хлеба. Напротив, от Шатков, которых почти никто из едущих не выбирает, по незнанию, исходным пунктом отправления в Саров, — лежит хорошая, не разбитая дорога, пара лошадей все время бежит рысью, а главное — получается отличная ночевка. Поезд приходит в Шатки часов в пять пополудни. Дорога сыра, местами грязна, но везде сносна, нигде не опасна при хорошем ямщике, умеющем объехать и совершенно негодный мост, и крутой овраг. Плата отсюда 15 рублей. Я долго выбирал ямщика из толпившихся перед вокзалом (их гораздо меньше, чем в Арзамасе) и не ошибся: мужик оказался, по отзыву крестьян, через деревни которых мы проезжали, не берущим в рот вина. И во всех отношениях он был исправен, добросовестен, не жаден, — хотя слишком сер и в мнениях своих, как увидит читатель ниже, излишне решителен и грубоват.

Часа через три, все же измученный тряскою в безрессорной коляске, а главное, отсырев и озябши, я въехал во двор. Стоял темный вечер, без луны и звезд, облачный. Лошади шлепали в грязи. Было тесно между какими-то каменными стенами. Я перекрестился на издали видневшуюся церковь. Это была сельская, чуть не возле стены монастыря. Наконец, ямщик остановился около грязного, маленького, едва заметного крыльца. И выйти пришлось в грязь. Но едва я сделал несколько шагов по каменной лестнице и сейчас же по каменному коридору второго этажа, как передо мною распахнулась дверь обширной, чистой, необыкновенно уютной комнаты, с домашнею не «номерною» обстановкою, хотя это был именно номер. И такая предусмотрительность: в конце июля комната оказалась тепло натопленною! На дворе не было не только холода, но и дождя. Но хозяева предвидели, что путнику в ночь или поздний вечер ничего так не надобно, как теплый угол, теплая, не отсыревшая постель. Я помню отвращение, с каким ложился буквально в ледяную и мокрую постель великолепной гостиницы в Венеции в половине мая, и благословил ум русских, догадавшихся, что путешественнику нужны не канделябры, не зеркала, не шелковая обивка кресел, а чистая простыня, пуховая подушка да сухой и теплый воздух недавно протопленной комнаты. «Самовар, скорее самовар!» И через минуту я грелся в совершенно русской обстановке. Это была гостиница Понетаевского женского монастыря, образовавшегося лет сорок назад из сестер, вышедших из Серафимо-Дивеевского монастыря вследствие раздоров, возникших из-за выбора новой матери-игуменьи. Оказывается, монастыри наши, несмотря на строгость царящей в них дисциплины, являют собой каждую автономную монашескую республику с чрезвычайно независимыми обычаями, с своевольною историею, вообще без муштровки, без подчинения, почти без надзора откуда-нибудь из Петербурга или Москвы, а только с легкою вассальною зависимостью от центров духовного управления. Это и понятно. Не Церковь родила монастыри, а монастыри родили Церковь, — родили ее строй и дух, одежду и замыслы. Монастыри — это те первоначальные островки среди языческого древнего океана, которые, спаявшись, сплотившись, и образовали собою потом материк Церкви. Раньше, чем древние Отцы и учителя явились на соборы, чтобы выразить догматы Церкви и определить ее уставы, они были уже монахами, пустынноиками. Прибавим к этому, что из монастырей ни в древние, ни в новые времена ни один не был административно основан, властительно учрежден, а все они возникли свободно, лично, из какого-нибудь подвига старца, из биографии святого. Таким образом, даже как-то и в голову не может прийти кому-нибудь посягнуть на это сердце Церкви, свободно бьющееся. Притом, вследствие страшной внутренней дисциплины и понятного духа монастыря, никогда не могло зародиться главного государственного мотива к стеснению их: подозрения в «неблагонадежности» этих своеобразных черных республик. Ибо насколько они были вдохновенны, насколько были свободны, они всюду проводили дух того же «послушания» и дисциплины, который так любили в себе, которым поэтически жили; и дух этот был в высшей степени нужен и желателен решительно при всяком политическом «обстоянии» (монашеский термин). Монастыри всегда были друзьями сильной власти, полной покорности; но друзьями не из боязни, не по политиканству, не по земным и утилитарным или временным соображениям, а по настоящему, глубокому, непоколебимому убеждению. Это была земная здешняя половина религиозно-мирового устройства, часть небесной философии, ступень к Богу, средство спасения души. Никогда еще монастырь не был возмущен какою угодно формою самовластия: если только оно не было направлено к подрыву самого монастыря или монашеского духа (как это случилось при Петре Великом); никогда монастырь или монах не положили границы человеческому самоуничижению, не сказали «довольно, остановись!» при виде какой угодно робости, подавленности, покорности, сведения на «нет» личности в человеке. И отсюда-то, из этого глубочайшего и поэтического совпадения строя монастыря со строем развивавшихся в Европе монархических систем, эти последние оставили монастырю свободу жизни, самоуправления, свободу биографии и уставов, какой вообще не оставили никому другому, никакому лицу, общине, учреждению. Псков и Новгород как давно уже пали! между тем в эпоху Аракчеева и Клейнмихеля в монастырях разыгрывались эпизоды типично новгородские, типично псковские — только иного колорита. И кажется, монастыри сейчас же и разом все закрылись бы, «братья» и «сестры» из них разошлись бы, посягни кто-нибудь на эту чрезвычайную и (по нашим временам) странную свободу их бытия, всех его подробностей.

Сестры знаменитого Серафимо-Дивеева монастыря разошлись в кандидатке на завтрашнюю чрезвычайную над собою власть: и когда, наконец, игуменья, после всех волнений и борьбы, была выбрана, — несогласные не захотели ей повиноваться, ушли за 40 верст в сторону и основали со своей кандидаткой новый монастырь, Серафимо-Понетаевский. Теперь в нем более 700 сестер. В первый раз я видел пустынь. Это вот что такое: вы едете полями, лесами, кругом — хлеба и сосна, кругом — деревня на много десятков верст, иногда — на сотни верст. Все серо, грубо, бесприветно. Все — глубоко необразованно, и кроме вчерашнего и завтрашнего дня, ничего не помнит и ни о чем не заботится. И среди этой буквально пустыни, культурной и исторической, горит яркая точка истории, цивилизации, духа — забот самых отдаленных, воспоминаний самых древних. Сияют куполами и крестами великолепные храмы; позолота, книги,

живопись, пение, самый нрав, обычай, весь внешний облик являют чрезвычайную тонкость, самый изощренный вкус, к созданию которого уже бессильно наше время и который умели выработать только великие творческие цивилизации древности и средних веков. Я в первый раз видел «пустынь»; и как вообще я ни чужд идей монастыря и всего монашеского духа, я был очарован виденным; очарован, восхищен — и воображение мое закружилось идеями, совершенно противоположными тем, к каким я привык.

Представляю себе, до чего же должно быть сильно влияние монастыря на народ, который не подходит к нему с тем специальным предубеждением, не скрою — почти с враждою, с каким подходил я. Влияние это должно быть колоссально, подавляюще; должно быть разбивающим всякое личное сопротивление. Недаром столько сильных и поэтических душ ушло в монастыри.

Прошло 19 июля, день рождения Серафима Саровского, «Угодника» всех трех обителей, Саровской, Дивеевской и Понетаевской. Все знают, как бывает скучно «назавтра» после праздника: все делается ленивее, все становится тусклее, серее, чем даже в обыкновенный день. Но день, когда я попал в обитель, был особенно несчастен: шел понедельник, «тяжелый день». Гостиница, где ночевал я, сейчас же у стены монастыря. Я вошел в ворота и пошел по краю громадного, искусственно вырытого, квадратного пруда, с прозрачной и чистой водой. Сейчас же за ним начались куртинки, цветники, палисадники. Все это — в виду огромного каменного корпуса с богатой, узорной орнаментировкой. Солнце едва поднялось, и прекрасно ложилось его лучи и на зеркальную гладь вод, и на сырую, холодную зелень. «Где же служба?» Мне указали не на собор, стоявший прямо впереди, а на этот каменный корпус здания. Над входом я прочитал надпись: «Здесь помещается живописная школа». В некотором недоумении я шел дальше и вошел в церковь, домовую, при общегитии и школе; или, может быть, школа и кельи построены при церкви, занимающей бельэтаж?.. По крайней мере последняя так огромна, как самые большие петербургские храмы, и не напоминает собою обычно маленьких домовых церквей.

Шла ранняя обедня. Шел не только «понедельник» и день «после праздников», но и час суток был такой, когда в церковь приходит очень мало народа, почти исключительно серого. И здесь были только группы больных, калек, слепых и очень мало пришедших просто «к обедне». Храм был весь заполнен собственными обитательницами. Никогда в жизни я не видел такого огромного числа «черной братии», и, может быть, не разделенные, не рассеянные инородным людом, они являли вид свой в той яркой очерченности и бросающейся в глаза выпуклости, в какой собствен и следует рассматривать всякое явление. Повторяю, я не люблю монашества; но, когда я увидел стройные ряды этих сотен «черных дев», где не было ни одного лица грубого, жесткого, ни одного легкомысленного или пустого (а я очень в них вглядывался), но все светилось приветом, уступчивостью, помощью, — я удивился великому преобразованию, какое производит в человеке обстановка, дух, «устав». Ибо ведь все эти сотни, я знал, были крестьянки, а с крестьянином (ямщиком) добросовестным, но грубым я только что провел в разговорах несколько часов. Вот подошел приложиться к огромному образу один из богомольцев: но он зачем-то стал прикладываться не к иконе, а к крошечному, в два вершка, образку, приставленному к иконе. При первом прикосновении образок свалился, и не наружу, а между деревянною подставкою иконы и шелковою желтою матернею, которая эту подставку завешивала. Богомолец засуетился, сконфузился, пытался поднять образок, но даже и не мог его найти. Ему сейчас же, без упрека и досады, помогла сестра. И она не без труда отыскала завалившийся образок, указала богомольцу приложиться куда следует, а образок моментально вновь «осветила», приложив ликом к чудотворной иконе, и поставила на прежнее место. Подают ли «поминания», не умеет ли паралитик подняться на скамейку, или слепой не видит, куда идет: везде тут — монахиня, везде — помощь, ласка, без упрека, без досады, усталости, лени; с той милой, спокойной «благоуветливостью» (монашеский термин), которая есть высший синтез природной доброты и обдуманых обычаев, к которым приучен с детства.

Я видел столь же стройные, массивные ряды, в церкви, и на публичных актах, гимназистов и гимназисток: ничего подобного и даже приблизительного! Я видел и никогда не забуду самую благовоспитанную человеческую толпу перед собою, благоустроенную, спокойную, к бесконечно многому готовую, не смятенную и, кажется, не могущую поддаться никакому смятению при всяком «обстоянии». Это большая сила и красота! Не забудем, что все они готовы повиноваться одному мановению — в их духе, в принятом ими направлении! Без этого — бунт, сопротивление. И это хорошо: потому что самое повиновение здесь не бессмысленно, не хаотично. Я стал всматриваться в храм, в богослужение.

Служил очень толстый и красный священник, с очень грубым лицом. Сколько я знал священников в женских монастырях, все они почему-то одного вида: за сорок лет, но не доходя до 50, толсты и безобразны с лица (на мужской взгляд). Ничего «духовного», какая-то странная противоположность лику монахинь. Не мог не улыбнуться в себе: «это — как Аписы в Египте». И действительно, отношение к этим толстым, физическим существам одухотворенных монахинь полно благоговения, почти молитвенности: кажется, каждая из них готова бы лечь ковриком «с крестиком» под тяжелыми сапогами пятипудовой фигуры. «Апис! Апис! его существо!» Меня это и прежде всегда удивляло. Я стал присматриваться кругом. Вот-вот, кажется, монахиня с кадилом в руках или с огромною зажженною свечою стоит не только в северной двери, но чуть ли не продвинулась в нее. Я, однако, не верил: Екатерина Вторая так жестоко разбранила своего друга, Е. Р. Дашкову, когда та неосторожно позволила себе войти в алтарь. Сложилась по поводу этого острова: «она вошла не как женщина, а как президент Академии наук». Недоступность алтаря для женщин есть не подробность в наших храмах, а одна из фундаментальных особенностей их. Когда младенцам на 40 день после рождения дают молитву, то мальчика священник вносит в алтарь, а девочек не вносит. По воззрению Православия, уже 40-дневное дитя-девочка слишком «не чиста», «греховна», чтобы вступить в «святое святых» новозаветного храма. «Евою мы все согрешили» и «наш Бог не был женщиною, ни — с женщиною». Эти вот ритуальные подробности, сказывая дух Церкви, хотя не суть «догматы», но важнее их: это — та поэзия, лирика, из которой все рождается, в том числе и догматы. Вдруг я увидел монахиню, вошедшую в самый алтарь, бесспорно, — потому что я увидел ее через царские врата!!! Я внимательно следил за движениями ее там, и мне хотелось бы увидеть ее пересекающую весь алтарь, прошедшую, напр., позади престола или особенно между престолом и царскими дверьми: но последнего я не видел, — может быть, не по невозможности, а по ненужности для целей служения проходить по этим особенно священным местам алтаря. Однако она свободно двигалась, по крайней мере, в левой половине алтаря, и это было первое зрелище для меня, где я увидел женщину религиозно сравненную с мужчиною, чего нет нигде решительно ни в службах, ни в молитвах, ни в чем!! Если вспомнить, что 40-дневную девочку нельзя внести в алтарь, что в него не может войти и императрица, то нельзя усомниться, что в этой особенности выражено огромное, особенное, ненормальное самочувствие монашества, монахов, монахинь. «Хлыстовка! все они хлыстовки!» — промелькнуло у меня сближение: конечно, никому из них и в голову не приходит это родство с опаснейшею из наших сект, эта их близость к «богородицам» «божьих людей». Но я вспомнил, что в обширных (и лучших у нас) исследованиях о хлыстовстве гг. Реутского и Добротворского везде описывается, как первоначальное возникновение в какой-нибудь местности этой секты неизменно приурочивалось к какому-нибудь женскому монастырю, и что в XVIII в. некоторые женские монастыри в Москве поголовно увлекались в это тайное и странное экзальтированное учение, может быть, и не всегда доходя до

полноты его обрядов и учения. Есть единица и ее дробь; есть краска и ее полутона, тени. Если выбросить грубую и материальную сторону хлыстовства, их обряды и нелепую фабулу об основателе, а взять только крайнее аскетическое учение их, постоянную молитвенность этих «божих» людей, их экстаз, а также и странное ощущение себя «богородицами» и «христами», т. е. прижизненно святыми, безгрешными, исполненными особых сил духа, то окажется множество точек соприкосновения между нормою монашества и аномальностью хлыстовства. Два тела; но одно при температуре в 38°, слегка лихорадящее, другое — 39°, 40°, совершенно больное.

Вот стоит одна из сестер в северных дверях, чтобы подать зажженное кадило дьякону. Мало ли как можно стоять и мало ли как можно держать вещь. Но здесь взято, — и это обычай, без намерений красоты выработавшийся, — самое красивое. Левая рука согнута в локте, положена на грудь и кистью поддерживает локоть правой руки, пальцы которой недвижно и высоко держат кадило... Ни одного рассеянного взгляда я не уловил; ни одного скучающего лица, с подавленной зевотой. Между тем за службой не было матери-игуменьи. «Республика» жила собою, не под надзором и не из страха, а делала все по святому одушевлению к святому делу. Стал я всматриваться в живопись: вся она в светлых тонах, голубых, розовых, зеленых, белых. Черная краска совсем почти не видна, между тем как она преобладает в городских приходских церквах. Большинство изображений — не стоящие недвижно лики, как опять же у нас, а события из Новозаветной и Ветхозаветной истории, т. е. движения, народные группы. И снова я вспомнил, в учении «божих людей», знаменитую догму о «таинственной смерти» и «таинственном воскресении»: что сперва надо таинственно «умереть» для мира, все мирское изгнать из себя; тогда душа останется одна, в себе, и в ней обнаружится «малый росток» новой и другой жизни, который начнет с этого времени увеличиваться, и человек еще здесь, на земле, узнает тайну «воскресения». В этой монастырской живописи я не нашел ничего собственно монашеского: нашел одушевление, жизнь, полет. И вся литургия, весь храм, все молящиеся — точно имели крылья и летели. И было им легко, не уставали. Так это странно было видеть после наших обеден, когда только устают ноги и чувствуешь боль в спине; ибо прежде всего не оживлен, даже не занят в них.

Да и не здесь ли только христианство имеет полет? В монашестве христианство получило себе стиль, т. е. получило тот «вкус», который управляет бесчисленными подробностями религиозного выражения. Это важнее догмата, это неизмеримо его важнее! Догмат есть мысль, знание, ведение: а религия, во всяком случае, — не ведение, а биение сердца, скорбящего, умиленного или переживающего еще тысячи чувств! Она вечна в человеке. Всякий человек, почти всякий, есть центр крошечной религии, особенной, таинственной, своей: и только от того, что вообще люди не несходны, что они сцепляются в массы, — эти крошечные религии сливаются в одну, большую. Нет, собственно, двух людей с абсолютно тождественной религией, «вера» коих походила бы, как «а» и «а» в алгебре. И этого не нужно, это была бы смерть религии как вечного спутника человека на земле, «ковчега» души его, который он пронесит среди суеты, как евреи через пустыни несли свой национальный ковчег. Вернусь к монашеству. Были души с первоначальным в себе отвращением к многообразию, к разнообразию, с первоначальным сильным и несколько монотонным настроением души. У нас четырех писателей: Лермонтова, Гоголя, Достоевского и, несколько менее, — Толстого, можно очень представить себе монахами: Пушкина — невозможно, хоть он и написал «Отцы пустынноики». В монахи вообще не годится человек с разнообразием и неустойчивостью в душе. Итак — стиль душ, монотонно-сильных, незаметно охватил собою первоначальное зерно Евангелия и дал ему свою исключительную обработку. Ведь и «общество христианское» и «семья христианская» — суть проблемы, а не факты. А монастырь — это факт, и притом давно созревший. Христианство и созрело только в монастыре. Здесь его бесспорная вершина, острие: семья ли, общество ли, государство и его учреждения — все это просто явления языческого порядка, к которым Евангелие никак не пристало и они никак не пристали, не подошли к Евангелию. Наденьте на «сочинения Пушкина» обложку из Добролюбова или обратно — и вы получите явление, подобное именуемым: «христианское общество», «христианское государство»; или — ближе и конкретнее — «христианский финансовый контроль», «христианский клуб». Ибо ведь «общество-христианство» бывает в клубе и служит в контроле. Что же это за смешение, за какофония?! Нет стиля. Как нет его в городах наших, где аракчеевская желтая стена чередуется с коринфскою колонною и стрельчатым готическим окном. Безобразия. В монастыре все выдержано. Нет противоречий. Нет несовместимых разных культур на одном вершке пространства. Поэтому-то он давит на душу, очаровывает просто потому, что это цельно и едино, а следовательно — убежденно и последовательно!

«Единое и многое», ἕν χαί πολλὰ — над этим много ломала свою голову еще греческая философия. И никак, читая об этой проблеме их мудрецов, включительно до Платона, не поймешь, что, собственно, занимало тут греков и чего они не могли в этой теме разрешить себе. В монастыре это я понял. Мир — многообразен; и есть свой стиль, свое увлечение в этом многообразии. Человечество не только не могло бы, но оно и не должно хотеть жить каким бы то ни было монотонным явлением, пусть самым прекрасным. Монастырь и мир — как это совместить? Вот новая постановка вопроса об «ἕν χαί πολλὰ». Нужно страшное сужение природы человека, страшный и вечный зарок ее перед потребностями развития, просто — роста, чтобы она могла войти в монастырь. А вне монастыря христианство хаотично; вне монастыря оно просто потеп[1 - имя, название (лат.)], в приличных случаях упоминаемый. Вот великая проблема, непосильная для гиганта. Правда, Евангелие везде и говорит о «малом числе избранных», о том, что «званных много, а избранных немного», оно отделяет Марию от заботливой многообразной Марфы. И, вообще, монастырь тверд, монастырь имеет в самом Евангелии слишком много почвы для себя. Монастырь и говорит довольно ясно, что вне его «спастись нельзя» или «трудно»; что он есть тот «узкий путь», по которому идут немногие; та «драгоценная жемчужина», найдя которую, купец «продает все свое имущество и покупает ее одну». В Евангелии есть тонкая игла особенного устремления, сломать которую решительно не могут «гуманисты-христиане», хотевшие бы заменить Церковь неким «универсальным братством» или «роскошью культурного пиршества». Они обманутся! В конце концов они ужасно обманутся! Ибо совершенно бесспорным остается, что Христос принес на землю что-то исключительное, особенное, новое, отчего и зачалась новая эра. А «культурного пиршества» и «всемирного братства» было много и до него. Как будто не Каракалла велел сравнивать в «правах гражданства» всех обитателей империи-мира?!

Христова — келья, а мир — не Христов. «Мужайтесь, ныне Я победил мир»: никак гуманистам-христианам не удастся сломить это и некоторые другие столь же основные, таинственные, необходимые изречения Христа. Мир естественный, натуральный несомненно не Христов, ибо если бы он был уже изначала и по существу своему «Христов», то незачем было Христу и приходить! Фраза Тертуллиана; бесчисленное множество раз повторенная, что «душа человеческая есть по природе своей христианка», — одна из самых ложных, ошибочных фраз, с которой не согласится ни один монастырь. Напротив, «душа человеческая есть по природе язычница», которая воспитывается к христианству только через некий трудный подвиг, пройдя через «тесную дверь» бесчисленных отречений (Мария отреклась от всего, чтобы только Иисуса слушать). Без этого специального приуготовления и воспитания, до него, — «душа человеческая» и развернулась в язычество, в целый ряд языческих культов, языческих гражданственностей, искусств, философий, наук. Какова «естественная душа человека» — это она показала памятно и документально до Христа в Ахилле и Тирсисите, Платоне и Эпикуре, в Сократе и Сулле, в Нероне и кротком Тите, «утешении рода человеческого» (прозвание). Древность, язычество — это и есть Humanität, чистая и исключительная человечность, новые песни которой запели Гете и Шиллер:

Радость, ты искра небес, ты божественна,

Дочь Елисейских полей,

Мы, упоенные, входим торжественно

В область святыни твоей.

Этого стиха не уместить в монастыре — ни напева в этом духе, ни картины в этом духе. Вся прелесть живописи в монастыре есть только по-видимому прелесть признанной действительности, но на самом деле — признанной уже после «таинственной смерти»; под углом образа смерти, через ужас которой проведена душа. «Божии люди» — пусть и мужики; но со всюю мужицкою силою они глубоко схватили некоторые основные христианские идеи и, пожалуй, выразили их точнее, пунктуальнее, нежели как это есть в которой-нибудь из Церквей. Всякая радость земная рассматривается в нем через грусть. Где нет грусти — нет христианства? Язычество — это младенчество до какого-то перелома, потрясения, испытания, после которого просто невозможно, неестественно впасть вторично в младенчество! Это гроб матери перед глазами семилетнего ребенка; собственная тяжелая болезнь. Христианство — выздоровление; но — не здоровье! Этой-то основной тайны христианства и не улавливают, когда воображают, что его можно слить с торжеством культуры, первоначальным, здоровым, непосредственным. Недаром древние храмы были полны тельцов, овец, голубей — здоровья еще

дочеловеческого; а новые полны хромых, слепых, расслабленных.

Недаром в Евангелии вкраплено столько рассказов об «исцелениях», между прочим об исцелении именно «расслабленного», — а Христос начал свое «новое» изгнанием животных из храма. Здесь вовсе была не филантропия, а открывалась новая сущность, иной дух. «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные», — этого наречения Себя врачом невозможно забыть в учении Христа. Да что иное значит и слово «Спаситель», как не тот же ли «врач»? Болящие, боль мира, и не долгая уже жизнь, которая после болезни кажется как «воскресение», как «преображение», — вот в волны чего Христос опустил свое слово. И решительно невозможно и ненатурально перенести это слово или привить его к первоначальному дичку природы, растущему, полному сил, и который вообще ничего себе не ожидает и ни в чем для себя не нуждается! Самодовление — и нет христианства! Нужда, жажда, алкание — о, на эту раскаленную почву христианство капнет ответной влагой. Слова о здоровье и о больных, сказанные Самим основателем новой религии, и определяют «первоначальную натуру», Humanität, «естественную душу», как не оборимо внехристианскую и до-христианскую, еще не нуждающуюся в Небесном Целителе. Это не значит, что она вне Бога и без Бога, «безбожна» или даже просто худа: но что она пока находится в круге Отца Небесного и не доросла еще до Страдающего Сына. Весь мир до нашей эры мог бы повторить как свое исповедание весь первый член нашего Символа веры; точнее, этот первый член и объемлет собою древний мир, все его «упования». Это — «толлὰ», «многое и разнообразное», над которым размышляла греческая философия. С Христом сошло на землю «ἐν», «единое» той же философии; «единое на потребу», как говорит наша религия, почти вторя эллинским мудрецам. В этом смысле «мир» и «монастырь» навсегда останутся неслиянны; но, оставаясь разнокатегоричны, и один и другой восходят к божественному; мир — к Ипостаси Отчей («в дому Отца обителей много»), монастырь к Ипостаси Сыновней («Мария избрала единое на потребу»).

Мне захотелось увидеть частные кельи Понетаевского монастыря, и я получил ответ, что это «можно». Сейчас, по окончании ранней обедни, монахини еще толпились во втором этаже домового церкви или поднялись в рисовальное училище, вверх. В нижнем этаже, где находились кельи, я увидел длинный коридор, наподобие гимназических, весь увешанный черными монашескими мантиями. Мне отворили дверь одной из келий. — Комната, где никогда от основания не было табачного дыма, не слышалось запаха водки, в которую никогда не «ожидали гостей», имеет психическую атмосферу, весьма отличную от наших жилищ. Четыре кровати по стенам комнаты, шкаф для платья, комод для белья и книг, большой стол, несколько стульев и многочисленные карточки «сродников» (ведь почти все монахини — крестьянки) являли, в общем, необыкновенную уютность, безукоризненный порядок и чистоту. Видно, что никогда беспокойство не смущало этого вечного покоя. Мне эти келейки напомнили комнаты воспитанниц-пансионерок здешнего Медицинского Института, которые я тоже осматривал. Только разница была в неприменном зеркале, которое у институток было, а у монахинь — нет, и еще в «героях» на стене. В кельях были карточки знаменитых духовных лиц, старцев, архимандритов, игумений, у медичек — Дарвина, Гельмгольца, Писарева, у некоторых — Баттистини или Мазини. Вообще, у одних все было по-деревенски, по-крестьянски, у других — по-дворянски, по-городскому. Но одни и другие сближались тем, что были равно упорядочены, и чисты, благоустроены, умны. «Вот где ступень от деревни к городу — монастырь!» — подумал я. Во все время осмотра у меня мерцала мысль, как было бы благотворно, если бы девочки из окрестных деревень проводили год (не более) пансионерками в «пустыне», конечно, обучаясь какому-нибудь рукоделью или ремеслу. Здесь нет книжной науки, но пластика быта выработана до высокого совершенства, а ведь она воспитывает не меньше, чем уроки арифметики или грамматики.

— Ну, что же, отец бьет тебя? — спросил я девочку лет десяти во время отдыха в одной из проезжих деревень.

С изумленно поднятыми на меня глазами она отвечала:

— Вестимо, бьет!

Она как будто смеялась на мой вопрос, и что городские жители не знают такой простой вещи, что каждый отец бьет свою дочь.

— За что же он бьет тебя?

Сейчас ответа ее, с такими же изумленно поднятыми глазами, я не помню: не то — «шалю», не то — «много ем».

— А пьет он?

— Вестимо, пьет.

— А мамка бьет тебя?

— Вестимо, бьет!

И тоже как выражение — просто факта! И удивление, что городские не знают этого всеобщего их деревенского факта. Меня поразило совершенно иной тон в деревне, за два шага до монастыря, чем какой был тон в монастыре. «Вот это — правда! Вот это уже настоящая правда, в этих физиологических нуждах деревни, и в этом фактическом языке, каким говорят деревенские жители», — промелькнуло у меня.

Говорят, по деревням, все о болезнях и о нужде. Около недоконченного сруба какой-то постройки я сделал «привал» на дороге и спросил молока и хлеба, пока кормились лошади (часа полтора); ехал я не один, и около нас собралось много мальчишек и баб с грудными ребятами. И один разговор: нужда, нужда и нужда! Спросил о священнике ближнего села: «Батюшка у нас — святой человек, моего брата на своей лошади свез в больницу»; «дал хлебца (зерно) и в долг не поставил»; «молодой: у него матушка трудно больна, да сынок прошлый год помер». Я понял, что сам страдающий, священник помогал и другим страдающим. Как и везде в христианстве, больные ходят около больных, болезнь лечит болезнь же. Где этой связанности в боли нет — христианство тускло или нереально, риторично. От этого наши гимназисты так глухи к «урокам Закона Божия», что они еще здоровы, молоды, у них все — в надеждах! Такое состояние — вообще не для религии, и в интересах ее самой я запретил бы ранее 40 лет «открывать тайны религии». Да и «открывать» я их стал бы опять же в каких-нибудь катакомбах, подземельях, людям специального душеустройства. А то с паркета, из гостиной, из клубов несется клич: «религия — миф, старый пережиток!» И это так громко и самоуверенно, что толпы не могут не смущаться и не верить. Между тем как религия реальна и вечна, но только рассмотреть-то ее можно из подземелий и страдания. Ведь и звезды многие видны только в телескоп, и мир новых тканей и новых организмов был неведом до микроскопа.

Крестьянам в кои-то поры было нарезано по одной, по полторы десятины «на душу». И как со времени этого прошло почти полвека, то теперь на душу приходится где 1/2, где 3/4 десятины. Этот нарез неполной десятины — норма во множестве сел и деревень, которыми я проезжал. Я слышал разъяснения, что в пору освобождения крестьяне потому охотно брали безвыкупной и крошечный «сиротский надел», что, при смутности понимания всего дела и вообще по темноте своей, опасались, как бы в связи с платежом денег за выкупаемый большой надел их не вернули снова в крепостное состояние за невыплату денег. Они поспешно взяли, что можно, чтобы только развязаться совсем с помещиками, заподозрив в сложности выкупной операции хитрость. Так мне приходилось слышать от πολλых сельских священников, которые и сами, вероятно, основывались на слухах же. Я вошел в несколько крестьянских изб. Самое ужасное в них был пол: он был какой-то сломанный посередине; дерево как-то не различить от земли. Все невообразимо сорно, загрязнено, тесно и душно. Огромные, почти над всей избой, полаты представляют основу сна, а огромная в пол-избы печь представляет основу еды. Еда, и сон, и труд — это все! Вдали, в перспективе, — храм, крестный ход, праздник. Редкий наряд деревни, которая так и любит праздники: не за то, что они дают простор лени (народ — трудолюбив), а что они как бы являют единственный цветной кусочек материи, вшитой в сплошное рубище. Сколько я разговаривал по дороге, нет других интересов, вопросов, понимания, кроме как: «откуда взять помощи?», «кто придет и поможет?» Как я понял, здесь, в Нижегородской губернии, еще вовсе нет шпунды, появившейся лет 20 назад в Малороссии. «У немцев — лучше» — дрогнула мысль в массах. Страшная вещь масса! И поползла эта мысль по черным головам, нечесаным, неумытым, с насекомыми в волосах; поползла и все одолела: и старую привязанность (честную) к Православию, и незыблемую верность Державе-Родине.

Ямщик, который вез меня, добросовестный, огромный мужик, кормящий стариков отца и мать и четверых детей, работал года четыре назад каменную работу... в Темир-Хан-Шуре!! Вон куда заносит нужда. Значит, русский мужик не ленив, значит, он ищет! Отхожие промыслы есть великий показатель, что мужик наш не лежебока. Но он решительно сбит с ног: 1) малостью земли, 2) отсутствием верных и обильных по близости заработков. Раньше грамоты, раньше даже веры надо спасти физиологическую суть народа. Надо положить или хоть не выбирать рубль из его кошель — и уже затем его стричь, чесать, учить, даже «креститься» учить! Раньше всего надо «быть», и уже потом на это «быть» надевать культуру. А в деревне нашей поставлен вопрос о самом «быть». Еще на ступени опуститься ей — и все треснет там; ибо пахарь на дохлой клячу, держащий вместо коровы козу (все виденные примеры!), местами ленивец (от беспомощной бедности, до отчаяния, начинается лень), везде почти пьющий (русский опиум), вдруг протянет по дорогам руку за подаянием! Нищество страшное явление. Тихое — оно зловеще бурь. Нищий — пансионер народа. Но когда сам народ «протянет ручку», кто же ему тогда подаст? откуда? что?!

Я разговорился с ямщиком моим как о Понетаевском монастыре, так и о Саровском, к которому мы подъезжали.

Монахинь виденного мною монастыря и он одобрял. «Они не лупят глаза на приезжих, как иные кто». Оказывается, игуменья их сама

художница, хотя и из крестьянок: «получила крест в Петербурге за рисованье». Епископ Иннокентий, недавний викарий петербургский и ныне тамбовский епископ, заказал монастырю до 50 икон Преподобного Серафима. К сожалению, самой школы рисовальной я не осмотрел, думая, что это неудобно в женском монастыре для мужчины. Между тем в Петербурге мне сказали потом, что это было вполне возможно. Ямщик сообщил мне, что монастырь имеет много земель, ведет обширное хозяйство, держит огромное стадо коров, более 75 голов. «Что же, монашки их пасут?» — спросил я наивно. — «Держат пастуха». «Куда же молоко идет?» — «А на монастырь. Их 700 сестер. По воскресеньям, вторникам и четвергам выдается на каждую по стакану молока. Запас идет на масло, творог, сметану». Я забыл сказать, что за «номер» в монастырской гостинице платят «по усердию». Я дал три рубля за большой номер, три постели в нем (с бельем) и два самовара: норму стоимости городского номера. — «Была здесь генеральша, и тоже ночевала; так та дала 80 коп.; сказывала сама». Значит, «усердие» не дает больших барышей монастырю. Вдруг я услышал от ямщика замечание, сперва удивившее меня, а потом рассмешившее.

— Они как вроде цыганок будут.

Это о монахинях. Несходство, разность категорий изумила меня. Одни пляшут, другие молятся. «Откуда такая мысль, и не бредит ли он? Да не ослышался ли я сам?» — И я его переспросил.

— Да, как цыганки, так и они то же самое. Юлят. Подлещиваются. И все, чтобы получить что-нибудь в руку. Ну, вы...

И он ударил по лошадам. В словах его была та же категоричность, не допускающая возражений, как и в девчонкином: «вестимо, бьет тятка». Но я далек от мысли как предполагать, что так-таки решительно уже в каждой деревенской избе «бьет тятка», так и от того, что единственный мотив монастыря, монашества и монахинь — «обирать». Мужик иногда видит не дальше адвоката (вспоминаю судьбище над Митрофанией). Одного задавило и подавило подозрение во всеобщей плутоватости, другого — во всеобщей грубости. Субъект расширяет свою психику до универса; голодная деревня, взглянув на великую эстетику монастыря, в первый момент изумляется, а в следующий решает: «э, да все это для корысти!» На самом деле, самая корыстность, плюшкинская корыстность — не доводит ни до чего, кроме как до разорения, провала, окончательной нищеты. Ибо она прежде всего отталкивает, антипатична: а как же вы богатство приобретете без притока людей, без окружения людьми, и это одинаково в монастыре, в торговле, в банке! Мне кажется, что именно щедрость, но только не глупая, — является источником твердого, настоящего обогащения. Все основатели великих фирм бывали поразительные филантропы, «раздаватели милостыни»; это — у нас (помню старообрядцев Курбатовых в Нижнем), у англичан, у евреев (Монтефиоре). Скупость — начало разорения; скупец-глава фирмы наносит первый удар фирме. Так в торговле; верно, что так и в монастырях. Вполне верю, что Понетаевский монастырь ласков, «благодарлив» вовсе не потому, что ждал от меня рубля. Я его видел на литургии, когда не было никого, кроме мужиков. Да и невозможно «манер» выработать так, чтобы не прорвалась черная душа. Но монастырь богатеет, ласков поэтому, природно ласков — и на старое богатство льется новое богатство. Что это — так, или вероятно — так, я имел случай проверить в Сарове.

Коляска, после необозримых хлебных полей, въехала в высокий бор. — «Я провезу вас дорогой, по которой никто не ездит (действительно, все другие ямщики при въезде в Саров поехали другой дорогой). Она немного дальше, зато лучше». Действительно, только при выезде из Кавказских гор я видел это же великолепие лесной хорошей дороги; только там это было подтропическое великолепие, а здесь все в миниатюре и скромнее. Лошади легко и быстро бежали по отличной дороге. Полная тишина кругом. Ни людей, ни строений, ни проезжих. Скоро уже гостиница, самовар — и я млею в ожидании. Да и конечная цель довольно сложной и утомительной поездки оживляла душу. Вечерело. И на душе было хорошо.

— Вот они, варлаганы!..

— Как? Кто?

— Известно кто. Золотая рота.

Снова я и мои спутники были изумлены. Ямщик указал кнутом на группу «чернцов», с длинными, развевающимися по ветру волосами, как у царей на сассанидских монетах. Они то бродили, то стояли, разговаривая, между деревьями и действительно «лупили глаза» на приезжих.

— Но, вы, энвухи! — окрикнул ямщик лошадей, трогая вожжой. Почему-то он всю дорогу именовал их этим названием, едва ли понимая его значение и, верно, услышав его в азиатской Темир-Хан-Шуре. И мимо каменных больших корпусов с вывесками: «Гостиница № 6», «Гостиница № 5» и т. д. подкатил нас к корпусу, ближе всего стоящему к воротам обители: «Гостиница № 1».

— Есть ли, однако, свободный номер? — забеспокоился я, как бы хватая убегающий самовар.

— У моих ездоков завсегда будет номер, — сказал твердо ямщик. — Разве в крайнем случае полчаса обождете, пока ослободят номер.

Но не пришлось ничего ждать. Номер был готов. Праздники и несносная теснота в гостиницах уже минули. Темные тени вечера падали на землю. Через полчаса, много через час запрут монастырские ворота, а я их уже видел, открытые, и через них — огромный храм, с мощами Угодника, привлекающими тысячи богомольцев. Наскоро велел готовить самовар, мы все, не переодеваясь, поспешили в монастырь. Храм был уже совсем темен, только в глубине его, очевидно над ракою, горели ряды лампад. Путники мои прошли туда, а я остановился у свечного ящика и попросил, для мелочи, разменять 25-рублевую бумажку.

— Без корысти (так и сказал) я вам не разменяю.

Всегда мне разменивали. — «Ну дайте две свечи по пяти копеек, только поскорее».

— По пяти нет. Возьмите в пятьдесят.

Опять я изумился. Никогда в жизни таких больших свеч не ставил. Действительно, он подал толстую и длинную, обернутую в золотую ленточку, свечу. Приблизившись к раке, я увидел, что других и не горело. Но я забыл суету и поклонился Великому Угоднику.

В пору, когда Пушкин писал «Руслана и Людмилу», декабристы зачитывались Ламартином и Байрон пел «Чайльд Гарольда», в эпоху конгрессов, Меттерниха, в эпоху начинающегося социального брожения, — в этих лесах жил человек, явивший изумительное воскресение тех тихих и созерцательных душ, какие во 2-м, 3-м, 4-м веках нашей эры жили в пустынях Ливии, Синая, Сирии. Ни один еще святой Русской земли так не повторил, но без преднамерения, неумышленно, великих фигур, на которых, собственно, как мост на своих сваях, утвердилось христианство. И какие особенные слова у них были? какое учение? Томов они не оставили: хотя в трепетной памяти потомства и запомнились 2—3, 5—6 афоризмов, «изречений» их. Где же тайная их сила? Неуловимо. Но Небо им что-то сказало. Лег знак Неба на чело их. Все это почувствовали; и опять: как почувствовали, через что — неисследимо! Но все запомнили, отметили. Все с тех пор идет сюда. Это — особенное место, особенное лицо, не смешиваемое с мудрецами, с великими вздымателями волн истории, как Гус, Иероним Пражский, Лютер. Здесь — все тихо. Была ли здесь хоть малейшая неправда, как есть она везде, во всем на земле, по слабости человеческой, по греху человеческому? Мне кажется, существо «отшельничества», в первой и чистой фазе его, и заключалось в желании «уйти от греха». Ибо «грех» всегда является от замешательства обстоятельств, от столкновения их с лицом человеческим и лица человеческого с ними. Уединись — и станешь немного лучше. Уединись надолго — душа успокоится. На этом основаны религиозные идеи отдыха, праздника (бесшумного) и покоя. Наконец, уйди на всю жизнь в леса, к звездам, к утреннему солнцу, к живительной росе, проводи рукою по этой холодной росе на утренней заре или, поднявшись на пригорок, следи, как солнце садится в купы деревьев, — и так сегодня, завтра, всегда, — и душа очистится, станет прозрачна, как слеза росы на зелени, без мути в себе, без пыли на себе. Она сольется с природой, сделается от нее неразличимой. И природа как бы уже прижизненно вберет в себя такого человека, как она вбирает всякого после его смерти. И тогда придут к такому человеку животные, не боясь его, даже любя его, даже понимая как-то его, — и он их постигнет новым постижением.

Встав от мощей, я оглянулся на храм. Высоко влево над дверями было огромное изображение Св. Серафима с подходящим к нему медведем. — «Хорошо, — подумал я, — что в храмовые изображения внесли и медведя и сосны».

Но я ошибся. Спрашивая потом «икону Преподобного Серафима с медведем», я услышал спокойный ответ: «Это картина, а не образ; а вот образок».

В епитрахили, чуть-чуть согбенный, с прекрасной бледной рукой на груди, являл старец действительно дивное, единственное лицо свое.

Но это — замечательно. Уже сейчас «икона» и картина разошлись. Я задумался о судьбах нашей религиозной живописи, которым столько

светил науки (в наше время — акад. Кондаков) отдали свои силы. «Почему же Серафим Саровский, молится ли он на камне, кормит ли он медведя, или идет в лесу с посохом и топором за поясом — все дивные явления настоящей, прожитой им жизни, жизни поклоняемой — не могут быть занесены на поклоняемую икону?» Отчего его жизни мы поклоняемся, именно она признана святою: а если, однако, эту жизнь, «православленную», поклоняемую, запечатлеть как есть в красках, на кипарисной доске, — то это будет только «картина» и перед нею нельзя ни зажечь лампы, ни поставить свечи?

Тема — для Кондаковых, тема — для ученых. Мне кажется, от нее начиная, они могли бы повести самую интересную часть своих исторических и философских изысканий. Очевидно, тут сокрыт принцип, еще не формулированный, «иконы» и «живописи». Обыкновенно ссылаются, давая типы икон, на «подлинник» греческий или русский, что — «так было», «так — подлинно» (реально). Теперь, когда еще ничего официально не установлено относительно изображений Св. Серафима Саровского, нашей духовной власти, очевидно, предлежит высказать общий принцип «иконописи» — и на основании его определить, установить «дозволенный к поклонению образ» Препод. Серафима. Почему он должен быть один? Почему конкретный Св. Серафим Саровский на него не может войти? Почему не войдет подвиг, а только схема и еще сан (епитрахиль)?

При посещении Сарова, ради сохранения времени, нужно отделять то, что всегда было и по существу остается разделенным: самые останки Преподобного и тот монастырь, близ которого, в лесу, он жил и который совершенно обычен. Может быть, их соотношение жизненнее всего выражается в повторении, какое наблюдается и сейчас между огромным, людным, полным движения и озабоченности монастырем и между почти 90-летним старцем, отцом Анатолием, живущим верстах в семи от монастыря, в лесу. Осматривая одну из часовен в Сарове с остатками жилища и имущества Св. Серафима, я обратился к полному монаху, показывавшему мне их, с вопросом об этом «прозорливом и мудром» от Анатолии, о котором только что услышал, — и раздумывал, не поехать ли к нему. Лицо монаха и голос его выразили равнодушие:

— Конечно, многие ездят. Да разве здесь вам мало святыни? Ничего особенного; рассказывают, преувеличивают. Взад и вперед вы заплатите за лошадь 5 рублей, так лучше деньги эти пожертвуйте на монастырь.

Действительно, я несколько раз проходил около «лавки для записи поминаний» (вывеска). Их здесь так много, что прием поминаний (на год и проч.) не совершается за особым столиком в церкви, но потребовал отдельной для себя постройки, помещения.

Теперь «славится» от. Анатолий. Лет 70—80 назад был приблизительно в таком же отношении к монастырю Препод. Серафим. Его путь спасения был глубоко особенный, личный, свой. Старчество, теперь уже могуче поднявшееся на Руси, — ибо в редком хорошем монастыре нет своего «старца» — представляет именно воскресение личности в монашестве и вместе углубление ее, субъективизм, снятие с себя официальности в отягощающих чертах. Таковы и были самые древние «отшельники», века II и III, без «пострига», без службы, свободные во вдохновении и подвиге. Но в веке IV, V и позднее явилось желание еще поднять, оформить и еще «усовершенствовать» это сильное явление. Превзошел «устав» в отшельничество — и создался «монастырь» как униформное, безличное сожитие многих, жизнь которых текла отныне в строжайшем подчинении мелочно-подробным правилам. Старчество, на наших глазах, явилось реакцией к древнейшему, свободному и личному, подвигу. Как монастырь не может не соединяться с понятием «братии», так старчество и старцев нельзя представить многих вместе. Таким образом, хотя старчество ютится около монастырей и сами старцы состоят в чине монахов и иеромонахов, однако они являют в себе незаметный и тихий, но вместе могущественный и очевидно победный вид антагонизма с монастырем как уставом и формой — преобразование и форм и духа его.

Собор Саровской пустыни и небольшая площадь, на которой стоит он, полны движения и звуков речи и ходьбы. Вот несут в плетеной из ивовых прутьев корзине расслабленную, худую, интеллигентную, не старую еще женщину, с недвижным, застывшим лицом и установленными в одну точку глазами. Ее пронесли в собор. Вот передвигаемая с места на место ручная кибиточка: она разделена на два отделения. Подходишь с одной стороны и видишь уродца от рождения, у которого вместо ног какие-то лепешки, а тельце маленькое. Поддаешь пятак и почти уже только из любопытства заходишь и с другой стороны: но, к ужасу, и там сидит точь-в-точь такой же уродец, а возящий тележку объясняет, что это «братцы». Навсегда врезался в моем воображении душевнобольной, «бесноватый». О них читаем в Евангелии, но в натуре я их никогда не видал, хотя и знаю, что бывают по городам. До чего верно схватил это особенное, ни на что не похожее выражение лица Рафаэль в своем «Преображении» (внизу картины, в земной ее половине, нарисовано «исцеление бесноватого», мальчика). За спиной больного стоял сторож, дюжий человек. Рядом — жена в черной косыночке и черном мешанском платье. Сам «бесноватый» — полный, плотный человек, лет 35, приблизительно из торговцев. Его поставили перед ракою угодника, чтобы слушать чтение акафиста. Сторож нанят водить его, смотреть за ним, при случае — чтобы справиться с ним: ибо никто не знает времени, когда начнется припадок. У самого больного через каждые две минуты, в течение которых его и за больного нельзя признать, начинают так страшно выворачиваться глаза, что видишь одни почти белки, и он оскаливает зубы. Взгляд — бродящий, тяжелый, точно ищущий кого-то, ищущий имени, лица ему нужного и ему уже предвременно знакомого. И, когда он ведет глазом по здоровому, тот его не чувствует, а когда останавливается на человеке с задатками аналогичной болезни, на нервном, полубольном, душевно угнетенном, — ужас овладевает последним: «он меня нашел!» Вообще как есть двойные звезды, друг около друга, вращающиеся, так есть, мне кажется, и «двойные» душевные болезни, где два субъекта связаны таинственной нитью. Больной в Сарове, странствуя глазами, все искал одну женщину, которая, видимо, его пугалась, старалась на него не смотреть и ему остаться невидимой. Но маленькое движение народа, прикладывание к кресту — и вдруг они рядом! Или через море голов, пока кто-нибудь на линии пересечения глаз кладет поклон, вдруг глаза «бесноватого» и боящейся его женщины, однако украдкой и со страхом смотрящей на него, встречаются. — Поминутно читаются акафисты приезжими священниками; их очень много здесь, очевидно, приезжающих с особенным, чем другие богомольцы, чувством: «вот я, недостойный иерей, своими устами и над самыми мощами чудотворца прочту ему молитву». Прекрасная подлинная черта крепкой веры нашего священства. После каждого чтения акафиста с поминаниями (которые берутся не весьма внимательно) следует всеобщее прикладывание ко кресту и затем прикладываются к мощам. Множество серого народа. И вот мужики, бабы, вынимая из-за пазухи посконных рубах копейки, кладут, прикладываясь, на блюдо, поставленное на раку. Есть студенты, гимназисты, барышни, всякий люд. Глаз мой не ошибся, различив и 1—2-х курсисток. Молитва горяча; вряд ли где горячее. Не непременно только мужики умеют молиться. Вот полная, хорошо одетая женщина, с девочкой 7—8 лет и мальчиком 4—5. Почти нарядное платье в живом контрасте с лицом, полным слез и пылающим. Именно не глаза плакали, а все лицо; и точно из всех пор его готовы были выступить слезы. Другая женщина, простая, все клала длинные поклоны: и долго-долго лежала каждый раз голова ее на ступеньке, ведущей к раке. Когда она отошла (чтобы прикладываться), дерево ступеньки было так закапано слезами, точно тут немного полили из лейки. Так удивительно это было видеть. Я незаметно стал на ее месте и, положив земной поклон, поцеловал эти слезы. Если бы даже кто не любил Бога, как не полюбить эту любовь к Богу? Чудное дело — религия; как-то умеет же человек самое насущное свое — боли, страдания, горести, поименные, ежедневные — связать с самым далеким, неосозаемым, вездесущим. И молится вот о «болящей Тане» Тому, Кто держит миры под десницею и покровительствует Вечности: как будто такая даль может видеть такую малость! Но — видит она! А главное — человек верит, что видит, и жив этою верою. И свят же человек молящийся... Если бы даже «там», в небесах, и было пусто, как непременно хотят скептики, то все равно слезы человечества уже сами по себе суть религия и вызывают к себе религиозное умиление... Не на всякий час и не у каждого бывает молитва. Я так был занят виденным вокруг, что сам и не помолился, разве только холодно и механично. К тому же я не богомольщик-зритель, а богомольщик-музыкант; вдруг ударит тон молитвы, повышение, понижение голоса — и меня трогает до глубины. Зрелище же будит во мне размышление, а не молитву. В акафисте Св. Серафиму, слишком длинном, чтобы класть сильное впечатление, мне, однако, врезались слова о нем, с большим сердцем вставленные: «наследнике добродетелей своей матери». Как известно, Св. Серафим никогда не снимал большого нагрудного креста, каким мать благословила его путь в монастырь. И как умно,

благочестиво, предусмотрительно было вплести в церковное торжественное прославление Святого память о его матери, курской горожанке, которую так нежно он любил и она была (судя по биографии) достойна своего сына! Как это ему отрадно «там».

Солнце высоко поднялось, и надо было спешить к источнику Преподобного. Всю дорогу я поеживался: как окунуться, когда и так в воздухе холодно, в ледяную воду бьющего из-под земли ключа, влезть в колодезь или бассейн?! Малодушие мной овладевало, а уклониться было позорно, да я и не хотел, ибо «исккупаться в источнике Св. Серафима» — это-то и было заключительной точкой путешествия. Всегда я любил «святые источники» и еще гимназистом из Нижнего ходил на «целебный ключ» за 12 верст. Этого богатства — я говорю о «святых ключах» — у лютеран нет. Прекрасно в Православии (и в католичестве), что у них религия гораздо глубже врубилась в природу, стоит около нее не как враждующий или равнодушный сосед, а как друг и даже как родной. Тропинка от монастыря до ключа — та самая, по которой всю свою жизнь ходил из кельи в монастырь Св. Серафим, — искажена и уже, увы, непоправимо!! Именно прошлый год, в предположении, что Государь будто будет ехать, а не идти сюда пешком (две версты расстояния), просекли и разработали инженерно большую дорогу туда: и, конечно, тропинка, которая раньше пролегла тут, бесследно исчезла — и исказился самый вид всей этой местности, на который Преподобный постоянно смотрел!! Между тем Государь именно не поехал, а пошел пешком!! На разрушение этой лесной и верно бесконечно милой тропинки я смотрю как на религиозное варварство, и — ненужное! Большую дорогу можно было, если уж она необходима была, прорубить стороною: ведь 3 или 2 версты ехать — все равно! Между тем, вступая сюда, уже вступал прежний посетитель в созерцание Серафима Саровского, в его «житие», столь исключительное, в его дух, в личность, в избравший эту местность вкус! Пятисотлетние, может быть восьмисотлетние сосны! Сосновые леса я всегда любил, за их душистость, за угрюмость и таинственный, о чем-то до-доисторическом говорящий, шум! Но здесь я увидел сосны, самой возможности которых не предполагал. В Нижегородской губернии и в Финляндии я не видал сосен толще человеческого обхвата: а здесь они были такие, что два человека не могли бы обхватить ствол. И такое варварство: проезжая (при самом въезде в монастырь) еще накануне мостом через какую-то речку, я увидел лежащие на мосту заготовленные брусья страшной толщины. На вопрос о них сказали, что это монастырь хочет строить запруду для мельницы. А теперь я увидал родину этих брусьев: по пути к источнику среди гигантов-сосен мелькали здесь и там недавно срезанные пни такой толщины, что на каждом можно было подать обед нескольким человеком! И вспомнил я из Лермонтова:

И пали на землю питомцы столетий.

Одежду их сорвали малые дети.

Очевидно то, что для меня, для всякого приезжего, для России представляется драгоценным, ненарушимым великолепием — здесь, на месте, являет просто материал экономической статьи в работе. «Нет великого и героического иначе... как издали» (текст французской поговорки грубее)... Но вот мы и у источника. Еще недавно, — мне рассказывал в дороге ямщик — почти до самого года открытия мощей, ключ стоял «среди природы»: и в великом энтузиазме, а может быть, иногда и не без соблазна, оба пола, не разделяясь, входили в него!! Можно представить себе зрелище... «Теперь это безобразия прекратили, и мужской пол купается отдельно от женского», — досказал суровый ямщик. Я сошел по небольшой лесенке вниз и вошел в строеньеце. Оказалось все дело не так, как можно было судить по рассказам («купаются в источнике»). Из желоба бьет толстая струя кристально-чистой воды и окачивает подходящего, но окачивает действительно всего и сразу в силу толщины своей. Одевался мальчик, весело подпрыгивая, и, ободренный примером, я быстро разделся и благоговейно дал облить себя ледяной струе. Столь же быстро накинув сорочку, я почувствовал самую сладостную теплоту в теле, здоровую, свежую. Моментажно изменяется настроение духа: энергия, веселость и ко всему готовность удвоились! Усталости как не бывало. Раздевался в это время старик, из каменноугольных донецких копей, без одного глаза: в первый раз я видел рабочего из шахт, и как о последних знал только по географии и приурочивал их к одной Англии, то с живым интересом разговорился с ним о чудесах шахт, которые будто бы тянутся на целые версты под землей. Глаз он потерял на работе при выломке угля. Согбенное, старое, худое и морщинистое его тело было уже раздето, и, подойдя под струю, он начал кричать и корчиться, как в бане на полке под паром. «Горячая водица! Горячая водица!» — визжал он, быстро вертась, и так подробно возился со своими «немощами», как мне это казалось невозможно в святом источнике. «Вот он все грехи смыл, а я только поверхностно», — думал я с раскаянием и не без завидования.

Я вышел, и мы двинулись дальше. Все та же идет дорога, только поуже и хуже разработанная, чем до источника. Тут уже все остальные достопримечательности в нескольких десятках шагов или в нескольких сотнях шагов. Сейчас возле источника — огромный бассейн святой воды, наподобие как в Кисловодске, но обстроенный внутри часовни с образами и свечами. Здесь в бутылках раздается вода, а бутылки (чтобы не разбиться в дороге) вставляются в особо заготовленные деревянные футляры. Это умно придумано. Еще шагов 200 — 300 вперед находится камень, на котором Преподобный молился 1000 ночей (так говорили кругом; по «житию» я не помню, сколько ночей). Камень этот большой (но не огромный), продолговатый, глубоко сидящий в земле (без сомнения — он не сдвинут), плоский с выемками сверху, и в самом деле удобный, чтобы на него стать на колени. Слепой (может быть слепнувший?), которого свели с пролетки, молился около него, и долго он прикладывал лоб, глаза и губы к граниту, на котором стояли колена Угодника. Конечно, — все это поразительно, и нельзя было не волноваться. И так же он поднялся, старый, слабый, и так же повели его к пролетке и ставили ногу его на «подножку». «Что же он не исцелел? что же не исцелел?» — был в душе вопрос. Как новичок — едешь в Саров, и стоит в голове одна мысль: «исцеление, исцеляются!» И, как едучи на Кавказ, думаешь: «горы», а между тем, приезжая, видишь и равнины, даже равнин (в общем) больше, чем гор, так и в Саров, приехав, точно ожидаешь и требуешь, а затем изумляешься, как же это «встал от камня и все же не прозрел». Но, в общем, я и до сих пор изумляюсь не тому, что есть исцеления (в них я вполне верю и о них много рассказывал дорожкою реалист-ямщик), а что исцелений не гораздо больше, что они не сплошные!! Вот этому я изумляюсь. Ибо если исцеляющая сила есть и раз она есть — ну, как же этому слепому, худощавому, дрожащему от страдания (он дрожал) не помочь!! «Сними рубашку последнюю! — и отдай нищему!» Так ведь это, я думаю, не только в отношениях между людьми, но и еще более, и уж конечно, в отношении между Землей и Небом! «И взял пять хлебов и насытил пять тысяч народа!» Так и должно быть, непременно, всегда, если алкает не один и не десять, а ровно пять тысяч!! Александр Македонский, когда войска томились от жажды в пустыне и ему воин принес немного мутной воды, где-то найденной, хотел пить, но через секунду выплеснул ее на песок! Ибо когда алкают «пять тысяч», как быть сыту одному! И когда жаждут 10000, можно ли одному пить!! Должно быть, я чего-то не понимаю: но я стоял около камня и изумлялся самым сильным изумлением, отчего же не встают все сплошь уже зрящими, не хромыми, не параличными!

Тут сейчас и земляночка Св. Серафима: маленькая, как у огородников шалаш, только не из прутьев, а с земляными стенами и полом. Она на спуске к ручейку, внизу бегущему. Я поднялся выше: вот его грядки с капустой. Вероятно, что грядки уже не те, но, несомненно, на том самом месте, даже, пожалуй, те самые, из тех земляных частиц, которые Преподобный обделывал в свои грядки. Ведь грядка стояла, ну,

70 лет назад. Если она запримечена, если ее берегут, то как ей перемениться? Закроет зима снегом, а весной вновь обозначится без ошибки, и вновь ее выкопают, и так 70 лет. На земле «метины» устойчивы: и когда нет преднамерения их уничтожить, они почти вечно стоят. Но я взобрался на пригорок бора. Вот он тут жил, это самое место, и уже без всяких перемен кругом! С удовольствием, как в источнике, я сел, потом лег на мшистую и хвойную землю. «То самое! подлинное!» И так хорошо было кругом, что хотелось бы поселиться здесь и прожить месяцы! Осмотр был не долог, а осмотренных мест много: и для меня теперь смутно, что объяснял показывающий послушник о находящейся здесь же келье Преподобного. Дело в том, что его келья, кажется перенесенная, есть и в Дивеевском монастыре. Там подлинная, его топором срубленная (как именно рубит не настоящий плотник, а самоучка), и она вся включена в футляр-домик, как здесь, в Петербурге, домик Петра Великого. Но и в Сарове есть тоже его лесная келья, неподалеку от землянки, выше: и помню, мы даже спускались вниз и нам показывали место за печью — едва продвинуться туда можно, — где он скрывался от толпившихся посетителей для уединенного чтения «правил» (ежедневная уставная молитва). Но, кажется, эта келья в Сарове есть обновленная, в точности повторенная, а не из тех самых бревен, в которых Св. Серафим молился. Сейчас я не помню точно объяснений показывавшего: знаю только, что в Дивееве подлинная.

И капуста на грядках хороша. И камень чуден, очень чуден! И все кругом чудно и хорошо! Один есть добрейший обычай в Сарове: не бить медведей во всем этом, довольно обширном, лесу, где медведи водятся и до сих пор. «И медведь, встречая человека, никогда его не тронет, не бывало примера!» Так мне рассказывали. Приезжают сюда охотники, но на Саровской земле им не позволяют охотиться, и они вправе убить только такого медведя, который вышел отсюда и перешел в соседний казенный лес! Это чрезвычайно хорошо, это надо сохранить! Чтобы уже докончить о Сарове, замечу, что есть мужик, Иван Майоров, 117 лет и еще не слепой и на ногах, который лично помнит Серафима Саровского и хаживал к нему, а в 12-м году был взят в ополчение. Он живет верстах в 12 от Сарова, в деревне Рузаново.

Когда мы возвращались, мысль о плохом купанье томила меня. И едва я подал слово, как все мои спутники ухватились за мысль: искупаться еще раз, ибо ведь никогда больше здесь не будешь, так далеко от Петербурга, — и уже недолго, вероятно, жить. На этот раз, в желании поправить дело, я, однако, перешел через край. Именно, я о чем-то задумался, стоял долго и терпеливо под льющей водой — когда вдруг со страхом заметил, что у меня стынет мозг: буквально это ощущение распространяющейся одеревенелости под черепом. «Что же это я делаю!» И отодвинулся от струи; Но, верно, благодать не испытывается вторично. Прежнего оживления не было.

Чтобы досказать все о Сарове: чудный там квас! Выходя из гостиницы и уже садясь обратно на лошадей, увидели мы на крыльце начатую бутылку и, считая квас достоянием «общечеловеческим», попробовали на дорогу — да так и выпили всю бутылку. Замечательный вкус. И булки там чудные — вдвое больше петербургских (5 коп.), и до того нежно тесто, какого в Петербурге не найдешь, да я думаю — и нигде. И малосольные огурцы, накануне попробованные, оказались превкусными. Все это за ларями, на открытом воздухе, продают бабы и мужики. Услыхав наши похвалы квасу, ямщик обернулся:

— Саровские квасы знаменитые. Тот, что вы кушали, не теперь заготовлен, а его замешивают в марте месяце и ставят в погреба. — И он стал объяснять что-то в технике заготовления, но я не помню и не очень понял.

От Сарова до Дивеева монастыря только 12 верст, и две эти пустыни, мужская и женская, находятся в таком же отношении, как Оптиная пустынь и Шамордино в Калужской губернии. Замечательно вообще, что великие старцы, как Серафим и Амвросий, являются или основателями, или могущественными покровителями и двигателями вперед женских монашеских обителей. Шамордино, громадный и богатый женский монастырь, был основан о. Амвросием, и он за немного дней до смерти переехал туда и там умер; и матери Марии, 90-летней старице, игуменье Дивеева монастыря († в июле этого лета), о. Серафим предсказал еще в 30-х годах XIX века: «Никогда еще женский монастырь не делался лаврою, но здесь будет лавра и место это посетит Государь со всею своею семьею». В прошедшем году последнее осуществилось: Царская семья остановилась именно в Дивеевом монастыре. Не менее достойно быть отмеченным, что хотя женские обители блистают большою упорядоченностью и вообще имеют более в себе пластической красоты «монашеского жития», тем не менее в них не выдвигается вовсе таких великих характером «молитвенников», как мы это наблюдаем в мужском монашестве. Пахомий, Макарий, Антоний, Феодосий, Зосима и Савватий, Нил Сорский — этому ряду светил церковных некого противопоставить женскому монашеству. Там были мученицы; т. е. экстаз, минута — и все кончено. Но не было этой оригинальности «жития» и силы подвига. Таким образом, здесь, как и всюду в истории, на всех решительно ее поприщах, мужчина является новатором, творцом; он прорубает лес неизвестного и будущего могучим топором. Но когда эта грубая просека сделана — идут трудолюбивые следовательницы, которые расчищают землю, вспахивают, засевают. Культуру в ее подробностях, в мелочном и изящном, в ее удобном и поэтическом — делают женщины. Они разрабатывают жизнь в быт, биологический клубок развертывают в нить и плетут из него кружево. Но «образователь земли», образователь планет, новых миров — это всегда Он, а не она, всегда «Бог», который в филологии всех народов, всех языков и мифов остается мужского рода.

Усталый, я уже не пошел ко всеобщей службе в Дивеевом монастыре, как и на другой день пошел только к поздней обедне и не видел красоты собственно общины монашеской здесь. Но заметно было, что все здесь первоначальнее и как-то шире, нежели в отделившемся Понетаевском монастыре, который поразил меня красотой своей. Здесь же хранятся главные реликвии бытового образа и всех подробностей жития Преподобного Серафима, и по способу отношения к ним видно, что нигде память его не чтится с таким нежным и глубоким вниманием, с такой чисто женской заботливостью и разработкой подробностей, как здесь. В отдельных витринах, под стеклом, собрано все, что он имел на себе или около себя.

Вот лапти, им сработанные и в которых он ходил, — огромного размера и неуклюжего вида, хотя он, по-видимому, не был сам очень большого роста; но, верно, жестокие морозы заставляли много наворачивать на ноги онуч. Вот его посох, крест нагрудный, с которым он изображается на иконах и которого никогда с себя не снимал (благословение матери), мантия и клобук монашеские, и камень или часть камня, на котором он молился. Если — этот подлинный, то какой же стоит в Сарове? Недостаток печатного руководства при обозрении трех монастырей, мною виденных, вообще спутывает понимание осматриваемых вещей. Здесь, уже подъезжая к монастырю, видишь множество убогих, калек, больных. В нескольких сажнях от ворот я был почти испуган видом шести слепых, которые сидели рядом. В самый вечер, как я приехал в Дивеево, случилась почти беда: в соборе есть не картина, а почти скульптурное изображение Успения Пресвятой Богородицы, вырезанное из дерева и украшенное венком и цветами. Оно стоит посреди храма, ближе к алтарю и немного вправо. Шла всеобщая; и вот, приведенный сюда душевнобольной дьякон неожиданно бросился к этому изображению и начал срывать с него венок и цветы. Его едва успели и имели силу оттащить. На другой день об этом шептались за обедней и указывали на больного, стоявшего тут же.

Свидетельством бережливого отношения ко всем «памяткам» Препод. Серафима служит довольно длинная тропинка, которая ведет к его келье по невысокому валу. На дощечке надпись, предупреждающая посетителей, чтобы они не спускались вниз и не топтали дорожку сейчас же внизу этого валика, ибо по ней обыкновенно проходил Преп. Серафим. Выражено это деликатно — не как запрещение, а как надежда, что религиозное чувство самих молящихся удержит их от топтания священной тропинки. Самая келья, я уже сказал, одета в деревянный футляр, и, таким образом, ни дождь, ни снег не сократят ей жизни. Здесь непрерывно служат панихиды по усопшем, как бы он еще вчера почил. Я пришел к концу панихиды, и служивший священник, взяв с аналоя просфору, подал мне («кому-нибудь», в толпе страшно теснящегося здесь народа). Подробности кельи в моем представлении сливаются с подробностями виденной в Сарове. Но там — это копия, воспроизведение, а здесь — подлинная.

В Дивееве великолепная церковная живопись. Первый раз я имел случай убедиться, как тонко замечание знаменитого странствователя по Востоку епископа Порфирия Успенского, который писал под впечатлениями Афона: «Достоинство внимания, что афонские отшельники, не пускающие женщин на Св. Гору свою, любили изображать в своих церквах семейные добродетели и занятия. Представлю вам примеры: Иоаким и Анна угощают левитов и священников, пестуют Марию и любят ее. Пресвятая Дева слушает благовестие Архангела с веретеном в руках, прядущая червленницу для храма. Спаситель и Матерь Его присутствуют на браке в Кане Галилейской. Апостолы Петр и Павел обнимаются и лобызаются после примирения. Весьма семейна икона Богоматери, питающей Младенца своего сосцом обнаженным (курс. еп. Порфирия). Умилителен образ ее, называемый Сладкое Целование. Матерь и Сын лобызают друг друга. Эти картины и иконы внушили мне мысль о возможности дать новое направление церковной живописи, так чтобы она была семейная и общественная, а не монашеская только. Домашние добродетели и общественные доблести послужат превосходными и назидательными предметами для храмовой живописи». Так писал один из самых великих наших монахов за XIX век. В сущности, о характере церковной живописи, позволительном или должном в ней, мы судим по живописи городских приходских церквей, где она, как отметил еп. Порфирий, — «только монашеская». Ее одну и видят миллионы и десятки миллионов людей, весь народ. Между тем о «возможном и должном» гораздо больше могут сказать классические места сосредоточения Православия: и они говорят о живописи семейной, семейно-трудовой и общественной. Здесь, в Дивееве, я увидел широчайшее раздвижение темы: «Рождество Христово», с отдельными большими на стенах изображениями и пастухов около вертепа, слушающих пение ангелов, и поклонения «царей-волхвов» Спасителю, и самого рождения Его, и встречи Его богоприимцем Симеоном, как равно — рождения Иоанна Предтечи и Богородицы.

В последнем изображении, особенно семейном, женщины наливают в большой сосуд воды, чтобы совершить первое купанье новорожденной; тут же присутствуют родители ее, Иоаким и Анна. По сюжетам — удивительная параллель, впервые мною увиденная, храмам Флоренции и Рима; и это — в пустыне, буквально в пустыне! на половине дороги между Нижним и Тамбовом! Сперва я готов был принять это за подражание итальянскому, но по одушевлению, которое здесь явно чувствовалось в выборе сюжетов, по отсутствию

эклетицизма, «набора», «мещанины» сюжетов и мотивов я не мог не признать, что все имело под собою почвою одушевление самого монастыря. Как это было не похоже на мертвую, пассивную живопись в Храме Спасителя в Москве! Снова я принужден был почувствовать, до чего в монашестве, и притом в нем единственно, христианство получило себе крылья, поэзию, полет, свободу и философию. И как оно просто «не принялось», осталось «втуне» везде, едва вы переступили за монастырскую стену. Известно, что с принесением Евангелия прекратились пророки. «Где пророки? где пророчество?» Таинственно и можно указать вопрошающим, что пророчество, только глубоко изменив колорит, переменяв белый цвет на черный (монашество — «черное» духовенство), не угасло бесследно, а вот выявилось с другой и неожиданной стороны — в монашестве. «Кто пророк Нового Завета?» — на вопрос этот и можно ответить: «вот — Серафим! вот — Амвросий! вот — старица Мария!» — «Но они не гремят! не обличают! не угрожают!» Но это уже совсем другой вопрос: они воодушевлены, как и древние пророки (по-еврейски «пророк», «наби» значит «вдохновенный», «одушевленный»), но самый предмет и тема их одушевления действительно совершенно другие, до известной степени противоположные библейским. Вот гроб мой: в него, вместо постели, ложусь я на ночь. Это и есть молчаливые письма мои, которых я не пишу, так как смерть потребляет всякие письма».

Каким образом с идеями тления и «кончины всех вещей», каковые, несомненно, составляют зерно монашества, сочеталась эта живопись, семейная, общественная, библейская — необыкновенно трудно понять. Здесь мы стоим перед тою же трудностью, какую ученые встречают и при истолковании «хлыстовства», первый импульс которого, несомненно, состоял и до сих пор состоит в полном отречении от брака и всех плотских уз, а на другом конце оно имеет «радения» и пляски. Здесь, в нашей оригинальной секте, все доведено только до полюса: грубо и вместе сильно — как все у мужиков. Но это есть то же самое явление, краевая тень которого, первая зорька, отмечена уже Порфирием в Афонской живописи. «Таинственная смерть!» «таинственное воскресение!» — лучше и нельзя формулировать, как этими краеугольными тезисами «божих людей».

Кроме семи «таинств», нумерационно, вещественно и явно нам известных, есть в религии еще «таинства», которых мы не считаем по пальцам, не формулируем их, а между тем присутствие их в ней несомненно. Вот, например, особенность: не увидав монастыря за ранней обедней или за всенощной, я не увидал и вообще красоты его. Отчего же? Живя в городе, я только однажды пошел к ранней обедне и был поражен ее сияющим, как бы горящим видом, — сравнительно с обеднями поздними, какие всегда посещал. Все знают, какое великое торжество — заутреня на Пасху, начинаемая с 12 часов ночи. Даже светские люди, совсем атеисты, испытывают действие ее на душу и неоднократно ее описывали. Если взять деление духовенства на белое и черное, то нельзя не заметить, что черное как бы выражает собой эти ночные службы, с горящими свечами в ночи, — и само горит, воспламенено более; белое же духовенство выражает дневные, неодушевленные, рациональные и сонливые службы. Вот соотношение и параллелизм, которому нельзя не удивиться. День и ночь имеют совсем разную психологию в себе; я хочу сказать, что не, только изменяется психика людей в это время, но что как будто и сама природа на ночь воодушевляется совсем другим воодушевлением, нежели какое владеет ею днем. Можно бы отнести это к зелени, к виду неба; но в городах небо за облаками и дымом не видно, а зелени совсем нет, и, однако, здесь также поэт или философ творят ночью, а не днем. Заседания парламента, где речи обдумываются, где люди хитрят, — бывают днем; а музыка и танцы, концерт и бал — непременно ночью. Даже если они случатся днем, люди входят в совершенно темное помещение и восстанавливают в нем привычное ночное освещение, т. е. хотя бы часть ночной своей психологии. Ночь более одушевлена, чем день: но не рациональным оживлением, а полетом скорее мистических сторон души. Тогда — молятся; тогда — изобретают стихи; тогда — слушают музыку; — мечтают: все — после захода солнца или ранее восхода его. Таким образом, тут есть что-то космическое, «небесное» — в прямом астрономическом смысле. Религия имеет связи с космогонией в прямом астрономическом значении; я чуть не сказал — астрологическом. Но, в самом деле, тут есть намек на астрологию, на странное «волшебство» ночи, на то, что она будто «колдует» над нами. Теперь возьмите деление христианства на церкви: протестантство — оно сплошь дневное, рациональное, белое. Кажется, там вовсе нет ночных служб, как и нет вовсе черного духовенства. И оно — не мистично. Действие его на сердце и воображение слабо. Католичество, напротив, все — ночная религия: точно будто там исключены вовсе поздние обедни, а оставлены только заутрени и всенощные. Я не говорю буквально о службах, а о психологии веры. Католичество — это ночь и — яркая свеча, зажженная в ней. И на свечу эту летят народы. Прилетели дикари, вандалы, готы. Летят до сих пор атеисты. Вообще притягательная его сила несомненно могущественнее, нежели остальных двух Церквей — что сказалось в объеме народов и стран, подчинившихся ему. Спрашивается, где всему этому основания в Евангелии? Не ясно ли, что в сложение христианства и судьбу его вошли с могущественным влиянием такие факторы, о каких даже упоминания Христос не делал.

Мне хочется еще указать некоторые соотношения, вообще не приходившие или немногим приходившие на ум. Длинная скорбь, в самой вершине заключающаяся неземной радостью, — вот Христианство. Черный цвет в самой его маковке вдруг переходит в белый. Христианство определенным образом и неоспоримо учит, что вся жизнь есть грех, антибожественное, грех и смерть: а вот после смерти — белое сияние, вечная жизнь, зрение Бога. Монастырь с светлой в нем живописью, жизнерадостной — только один из нескольких параллельных лучей, идущих в этом направлении. Но вот и еще: все монашество — в черных мантиях и клобуках (ночь), без единой в одежде белой, или серой, или цветной полоски; но тот, в коем венчается монашество и завершается вся сплошь черная иерархия Церкви, — надевает на голову чистый белый клобук, при остальных одеждах — еще черных (одеяние митрополита и, вероятно, патриархов). Каким инстинктом произошло это устройство одежд? Преднамеренной мысли тут никто не вкладывал. А «вышло» так, что мысль ясно прочиталась даже в одеждах. Идет клинок, но он имеет лезвие. Весь клинок христианства — черный; но лезвие — белое. И так повсюду, от живописи до одежд, от деления духовенства на черное и белое — до дневных и ночных служб, до разделения всего времени христианского на черные посты, увенчиваемые торжеством Пасхи, Рождества, Успения. Это не догмат. Где такой догмат? Но это — гораздо более догмата, ибо пронизывает всю ткань христианства, от основания до вершины, и составляет самую душу его. Между тем никакой формулы этот «лейтмотив» не имеет: никакого определенного о нем учения. На вопрос об этом всякий богослов ответит: «не знаю, не приходило на ум; в рубрике вопросов этого не значится». Иногда кажется, что христианство живет вовсе не теми тезисами, какие вслух произносит, а подлинно живет теми тезисами, каких никогда не выговаривает, да и сознательно, рефлексивно — не знает о них. Хотя все сердца бьются с ними в такт.

«Ну, вот и окончательно домой! — подумал я не без облегчения, садясь в коляску.— Ближе ко щам, ну ее, всю эту мистику, и белые и черные сияния, и музыку дня и ночи». — Прямо за стенами монастыря, как началось шлепанье грязи, овраги и пригорки, сразу входил во всю реальность бытия. Это что-то совсем иное. Все познается через противоположности, и, можно сказать, не побывав в отрицании жизни — не вкусил бы так остро самой жизни. Запах дегтя от колес волновал меня теперь не менее «благоуветливого» вида монахинь. И ямщик, как повернул домой, развеселился же:

— Эй вы, зелененькие!! — приветливо покрикивал он на лошадей.

Не видя сзади сидящих пассажиров, ямщик чувствует себя наедине с лошадьми и отдается крикам, брани и ласке, как бы никто его не видит и не слышит. Достаточно вам заметить какой-нибудь странный его окрик и переспросить его о нем — и он всю дорогу не произнесет более его. В наименовании «зелененькими» сказало столько ласки, и какой-то другой, рабочей ласки двух заработавшихся существ, ямщика и лошади, друг к другу, что я не мог не почувствовать, что выплыл из одного моря и вплыл в совсем другое. «Своя лошадь! своя собственность!» — вот первое и упорное и, наконец, вековечное отрицание монастыря. Где открывает свой глазок собственность, личная, своя, особенная, поименная, а по связи с нею в прошлом дорогая и милая — нет монастыря, да, пожалуй, там нет и христианства. Недаром древние, первые, одушевленные христиане «имели все общее», как записано в истории. Это не коммунизм, который ставит усиленный плюс на собственности: а совершенно ему противоположное, ибо здесь на собственности поставлен минус. Впрочем, не столько на собственности — ибо монастыри развиваются в богатые экономики, — сколько на собственности поименной, индивидуальной и, в последнем анализе, — вообще на всякой индивидуализации человека. «Своя жена! свои дети! свой дом!» Все это — отрицание и вековечное отрицание христианства, которое и учит о себе, что окончательное торжество его тогда настанет, когда «лицо мира прейдет». Когда развяжутся, ослабнут основные инстинкты человека: как бы выпустит мир из себя человека, человек — выпустит мир. «Лошадь — моя или не моя: все равно»; «жена — моя или не моя: и это все равно». До чего это вековечно и неистребимо в христианстве, можно видеть из очень редко приводимых слов Христа, записанных у евангелиста Луки, глава XII, стихи 49—53, и с которыми никак не управятся моралисты, рационалисты и вообще вынимающие метафизику из христианства, оставляя его при одних «прекрасных словах»:

«Огонь пришел Я низвести на землю: и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!

Крещением должен Я креститься, и как Я томлюсь, пока сие совершится!

Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? нет, говорю вам, но разделение.

Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех.

Отец будет против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей».

Вот Царство Христово: разодрание уз между людьми и с землей. Так это монастырь и понимает, и чистосердечно, без подтасовок это и выразил. Спорящие против монастыря никак не хотят понять, что они в то же время спорят и против христианства, чистосердечнее сказать — прямо против Христа. Тогда так прямо и надо это говорить, ибо никакая победа не может быть выиграна с фальшивыми картами. Нужно прямо говорить, что «моя лошадь! моя жена! мои дети!» — стоят вне орбиты христианства; что это — древнее язычество, которому еще остается верен человек и не может, да частью и не хочет, остаться ему неверным. Если «торжество христианства» сливается с «прехождением лица мира», то, пока он все-таки стоит, этот несносный мир, и мы привязаны — я к домашним щам, ямщик мой — к лошади, другой — к жене, к детям, мы все и вправе говорить: «мир еще не прешел и мы язычники». Монастырю, в свою очередь, на это нечего ответить: сжав губы, негодуя, презрительно он скажет: «прейдет! испелелится!» Но, пока еще звезды не попадали с неба, мы — господа положения и... sumus ut sumus aut non sumus (останемся как есть или перестанем вовсе быть), как ответил один папа XVIII в. на предложение изменить status quo католичества.

Трудно постигнуть, кто выживет и одолеет — в судьбах истории и мира, — Лик ли Христов с Его испепеляющей красотой, покоряющей всякое сердце, покорившей языческий мир, или — столп земли с его тяготами, с механикой и геометрией, теоремы которой никак тоже не «испепеляются». Я был поражен великой эстетикой монастыря, а выехав из него, все-таки, все-таки сказал про леса, поля, ямщика и его хату: «Здесь лучше, с этими... веселее». И «веселее» — не дурным весельем, а просто в смысле «легче стало». Экстаз всякий тяжел, между прочим — и монастырский. Если эстетика приковывает внимание, то непременно должно быть и даже вождельно что-то «после эстетики», т. е. где нет эстетики: ибо вечное напряжение невозможно и хочется отдыха, свободы. Эстетика — это миг; а вечность — именно не эстетика, и даже что-то отрицательное в отношении ее. Здесь права Земли, права безобразного или вообще некрасивого. Эстетически можно умереть, а прожить — никак нельзя эстетически, и здесь — права жизни, реализма.

Да и эстетикой ли по-настоящему красится жизнь человека? «Эй, вы, зелененькие» — этот грубый окрик ямщика, пробудивший меня к действительности чувством его собственности, напомнил мне другую собственность, вырвавшую другое восклицание. Плыл, неподалеку от Петербурга, пароход — и, уже подходя к пристани, загорелся. Так было близко от пристани, что он дошел до нее почти по инерции, — но пламя уже страшно разлилось на нем, и в нем не сгорела, но вся обгорела жена художника, ехавшая к мужу с детьми, которые каким-то чудом уцелели. Невозможно забыть, как рассказывалось об этом в газетах: выбежав, несчастная спряталась за поленницу дров, обычно складываемых возле пароходных пристаней. Ее нашли там. Но когда она увидела людей, она в страхе закричала: «Не извещайте мужа и не приводите сюда детей». Через несколько часов она скончалась. Всякий знает, до чего сильно болят ожоги. Это — не как антонов огонь, без боли убивающий. Что же несчастную среди этих мук озабочивало? Не о себе она думала, что вот кончается ее молодая жизнь, «умираю»: она предсмертно думала, как обеспокоятся, восскорбят, испуганы будут судьбою ее — муж ее, дети ее. Между тем, не будь этого случая, никто бы и не узнал о ее особой любви, о всей нежности и глубине ее души, ее привязанности. Это — этика. Это — уже не эстетика. В последнем анализе, эстетические нити именно белые, холодные. А теплота мира и содержится в этих грубых: «Моя зелененькая лошадь!», «Мои черноглазенькие дети», — и все поименно, индивидуально, конкретно. Тут — столп мира, «пуп

земли», так же мало преходящий и «испепеливающийся», как и теоремы геометрии. Здесь встречается, т. е. получает себе изъяснение, евангельское предсказание, что «к концу мира — охладет любовь», разожмутся объятия, в которых держит человек прекрасную землю-родину и земные твари. Но это — как и «звезды посыплются с неба»... Пока еще любовь греет, а звезды стоят на месте — мы *sumus ut sumus aut non sumus*.

Я вспомнил о сгоревшей жене художника. Как живые, прошли ее слова через сердце. И забыл о монастыре, как легком приглянувшемся облачке.

1904 г.

Примечания

1 имя, название (лат.).